

А. Б. Мариенгоф

РОМАН БЕЗ ВРАНЬЯ

4

Каждый день, часов около двух, приходил Есенин ко мне в издательство и, садясь около, клал на стол, заваленный рукописями, желтый тюречок с солеными огурцами.

Из тюречка на стол бежали струйки рассола.

В зубах хрустело огуречное зеленое мясо, и сочился соленый сок, расплзаясь фиолетовыми пятнами по рукописным страничкам.

Есенин поучал:

– Так, с бухты-барахты, не след идти в русскую литературу. Искусную надо вести игру и тончайшую политику.

И тыкал в меня пальцем:

– Трудно тебе будет, Толя, в лаковых ботиночках и с проборчиком волосок к волоску. Как можно без поэтической рассеянности? Разве витают под облаками в брючках из-под утюга! Кто этому поверит? Вот смотри – Белый. И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского однотомного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит. А еще очень невредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят... Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?..

И Есенин весело, по-мальчишески захохотал.

– Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел.

Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом: и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев... к нему я, правда, первому из поэтов подошел – скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишок а в двенадцать строчек прочесть, а он уже тоненьким таким голосочком: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах...» – и, ухватив меня под ручку, поволок от знаменитости к знаменитости, «ахи» свои расточая. Сам же я – скромного, можно сказать, скромнее. От каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!

Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддёвкой, с рубашкой, вышитой, как полотенце, с голенищами в гармошку) и по-хорошему чистосердечно (а не с деланой чистосердечностью, на которую тоже был великий мастер) сказал:

– Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил, и поддёвки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду бочки в Ригу катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два, пока партия моя грузчиков подберется. А какие там бочки – за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом... Вот и Клюев тоже так. Он маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел на кухню: «Не надо ли чего покрасить?..» И давай кухарке стихи читать. А уж известно: кухарка у поэта. Сейчас к барину: «Так-де и так». Явился барин. Зовет в комнаты – Клюев не идет: «Где уж нам в горницу: и креслица-то барину перепачкаю, и полощеный наслежу». Барин предлагает садиться. Клюев мнет: «Уж мы постоим». Так, стоя перед баринком в кухне, стихи и читал... <...>

<...> В ту же зиму прислал Есенину письмо и Николай Клюев.

Письмо сладкоречивое, на патоке и елее. Но в патоке клюевской был яд, не пименовскому чета, и желчь не орешинская.

Есенин читал и перечитывал письмо. К вечеру знал его назубок от буквы до буквы. Желтел, молчал, сунул брови и в гармошку собирал кожу на лбу.

Потом дня три писал ответ туго и вдумчиво, как стихотворение. Вытачивал фразу, вертя ее разными сторонами и на всякий манер, словно тифлисский духанщик над огнем деревянные палочки с кусочками молодого барашка. Выволакивал из темных уголков памяти то самое, от чего должен был так же пожелтеть Миколушка, как пожелтел сейчас «Миколушкин сокол ясный».

Есенин собирался вести за собой русскую поэзию, а тут наставляющие и попечительствующие словеса Клюева.

Долго еще, по привычке, критика подливала масла в огонь, величая Есенина «меньшим клюевским братом». А Есенин уже твердо стоял в литературе на своих собственных ногах, говорил своим голосом и носил свою есенинскую «рубашку» (так любил называть он стихотворную форму).

После одной – подобного сорта – рецензии Есенин побегал в типографию рассыпать набор своего старого стихотворения с такими двумя строками:

Апостол нежный Клюев
Нас на руках носил.

Но было уже поздно. Машина выбрасывала последние листы. <...>

Предугаданная грусть наших «Прощаний» стала явственной и правдоподобной.

Сначала разбрелись литературные пути.

Есенин еще печатался в имажинистской «Гостинице для путешественников в прекрасном», но поглядывал уже в сторону «мужиковствующих». Подолгу сидел он с Орешиним, Клычковым, Ширяевцем в подвальной комнатке «Стойла Пегаса». Ссорились, кричали, пили.

Есенин желал вожаковать. В затеваемом журнале «Россияне» требовал:

– Диктатуры!

Орешин злостно и мрачно показывал ему шиш.

Клычков скалил глаза и ненавидел многопудовым завистливым чувством.

Есенин уехал в Петербург и привез оттуда Николая Клюева. Клюев раскрывал пастырские объятия перед меньшими своими братьями по слову, троекратно лобызал в губы, называл Есенина Сереженькой и даже меня ласково гладил по колену, приговаривая:

– Олень! олень!

Вздыхал об олонеккой избе и до закрытия, до четвертого часа ночи, каждодневно сидел в «Стойле Пегаса», среди визжащих фокстроты скрипок и красногубой, пустосердечной и площадноречивой толпы, отрыгивающей винным духом, пудрой «Леда» и мутными тверскобульварными страстишками.

Мне нравился Клюев. И то, что он пришел путями господними в «Стойло Пегаса», и то, что он творил крестное знамение над жидким моссельпромовским пивом и вобельным хвостиком, и то, что он ради мистического ряжения и великой фальши, которую зовем мы искусством, одел терновый венец и встал с протянутой ладонью среди нищих на соборной паперти, с сердцем циничным и кощунственным, холодным к любви и вере.

Есенин к Клюеву был ласков и льстив. Рассказывал о «Россиянах», обмозговывал, как из «старшего брата» вытесать подпорочку для своей «диктатуры», как «Миколаем» сморить Клычкова с Орешиним.

А Клюев вздыхал:

– Вот, Сереженька, в лапоточки скоро обуюсь... последние щиблетешки, Сереженька, развалились!

Есенин заказал для Клюева шевровые сапоги.

А вечером в «Стойле» допытывал:

– Ну, как же насчет «Россиян», Николай?

– А я кумекаю – ты, Сереженька, голова... тебе красный угол.

– Ты скажи им – Сереге-то Клычкову и Петру, – что, мол, Есенина диктатура.

– Скажу, Сереженька, скажу...

Сапоги делались целую неделю.

Клюев корил Есенина:

– Чего Изадору-то бросил... хорошая баба... богатая... вот бы мне ее... плюшевую бы шляпу купил с ямкою и сюртук, Сереженька, из поповского сукна себе справил..

– Справим, Николай, справим! Только бы вот «Россияне»...

А когда шевровые сапоги были готовы, Клюев увязал их в котомочку и в ту же ночь, втихомолку, не простившись ни с кем, уехал из Москвы. <...>

1926